# «ЖЕСТКИЙ АРЕСТАНТСКИЙ ХАЛАТ» В «БЕЛЛЕТРИСТИЧЕСКОМ ГАРДЕРОБЕ» А. П. ЧЕХОВА: «ОСТРОВ САХАЛИН»\*

#### Елена Созина

Институт истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург, Россия

## THE PRISON UNIFORM IN A. P. CHEKHOV'S "FICTIONAL WARDROBE": SAKHALIN ISLAND

#### Elena Sozina

Institute of History and Archaeology, Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russia

The author regards A. P. Chekhov's *Sakhalin Island* through the lens of contemporary post-colonial criticism. She focuses on the colonisation of the island, which Chekhov analysed from a variety of angles (the economic development of Sakhalin and its colonisation by means of prisoner labour). Chekhov unites a number of points of view in the text, but it is also important that Chekhov himself quite often employs the language of a supporter of the imperial idea, although his account testifies to the failure of colonisation and the inability to modernise the Russian legal system. According to Chekhov, this resulted from the problems inherent in the reforms and the fact that serfdom had not been entirely wiped out. Chekhov stops using the indirect narration he had previously employed and directly expresses his opinion on

<sup>\*</sup> Citation: Sozina, E. (2016). The Prison Uniform in A. P. Chekhov's "Fictional Wardrobe": Sakhalin Island. In Quaestio Rossica. Vol. 4. № 4, p. 64–83. DOI 10.15826/qr.2016.4.191.

*Цитирование*: *Sozina E.* The Prison Uniform in A. P. Chekhov's "Fictional Wardrobe": *Sakhalin Island //* Quaestio Rossica. Vol. 4, 2016. № 4. P. 64–83. DOI 10.15826/qr.2016.4.191 / *Созина Е.* «Жесткий арестантский халат» в «беллетристическом гардеробе» А. П. Чехова: «Остров Сахалин» // Quaestio Rossica. Т. 4, 2016. № 4. С. 64–83. DOI 10.15826/qr.2016.4.191.

<sup>©</sup> Созина Е., 2016

the things he witnesses, quite often omitting his own evaluations. The author emphasises the continuity between the literary tradition of the 1860s and 1870s (G. Uspensky, N. Pomyalovsky, F. Reshetnikov, etc.) and Chekhov's works. *Sakhalin Island* is part of a super textual entity, since it should be read alongside Chekhov's letters on the continuation of his journey around Southeast Asia, which give a wider perspective of the colonisation of the island. Chekhov changed his manner of narration a number of times and reconsidered his approach: the text reflects those changes. Apparently, this was connected with Chekhov's ambiguous impression of his journey to Sakhalin, with what he saw on the island, and how he perceived what was going on there and his own role. It is impossible to describe or interpret the colonisation of the island of Sakhalin in an unambiguous way, and it was one of the writer's tasks to learn about its results.

*Keywords*: 19th-century Russian literature; *Sakhalin Island*; colonisation; narrative; multi-genre and super textual entity; author's position.

Книга А. П. Чехова «Остров Сахалин» рассматривается через призму современных работ в русле постколониальной критики. Выделяется одна из ее ведущих тем - колонизации острова, которую Чехов анализировал с разных сторон: и как хозяйственное освоение Сахалина, и как колонизацию посредством труда заключенных. В позиции автора, воплощенной в тексте, сочетаются разные ипостаси, но немаловажно, что Чехов сам подчас переходит на язык носителя имперской идеи, хотя опыт его наблюдений над жизнью острова свидетельствует о неудаче колонизации, а также модернизации судебного дела в России. Причины этого автор видит в характере производимых реформ и неизжитом крепостном прошлом страны, определяющем ее настоящее. Чехов отказывается от выработанной им манеры косвенного повествования и дает прямые оценки увиденному, зачастую его оценки и авторские ремарки опущены, поскольку сам автор уподобляется некоей «машине» письма. Отмечена преемственная связь с традицией русской прозы 1860-1870-х гг. (Г. Успенского, Н. Помяловского, Ф. Решетникова и др.), от которой в определенной степени зависят особенности чеховского нарратива. «Остров Сахалин» включается в рамку сверхтекстового единства - писем Чехова о продолжении его путешествия по Юго-Восточной Азии, позволяющего увидеть проблему колонизации в более широком ракурсе. Чехов неоднократно менял саму манеру своего письма, отказывался от начатого, и следы этих изменений хранит текст. По-видимому, это было связано с принципиально неоднозначными впечатлениями Чехова от своего путешествия на Сахалин, от того, что он увидел на острове и как оценивал происходящее и свою роль в нем. Тема колонизации острова Сахалин не может быть подана и решена односложно, раз и навсегда, ознакомление с ее результатами тоже входило в задачи писателя, который поневоле выступал здесь не только и не столько как писатель-беллетрист.

*Ключевые слова:* русская литература XIX в.; А. П. Чехов; «Остров Сахалин»; тема колонизации; художественный язык; нарратив; полижанровое и сверхтекстовое единство; позиция автора.

В прошедшем 2015 г. исполнилось 125 лет сахалинскому путешествию Чехова и 120 лет выходу его книги «Остров Сахалин». Повод достаточный для того, чтобы попытаться еще раз и, возможно, в чемто заново посмотреть на опыт не столько даже путешествия Чехова, сколько его осмысляющего впечатления этого опыта, выраженного в книге. Судя по редким замечаниям о работе над ее текстом, рассыпанным в письмах Чехова, этот опыт давался ему нелегко.

Как известно, перед поездкой на Сахалин Чехов очень основательно изучал имеющуюся на тот момент литературу об острове. Вопрос о «нашем Востоке», по крайней мере о Сахалине (ибо Амур он оценивал иначе), о возможности его стать «страной довольства, богатства и счастья», 1 – с самого начала решался им отрицательно:

Сахалин – это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный... <...> В места, подобные Сахалину, мы должны ездить на поклонение, как турки ездят в Мекку, а моряки и тюрьмоведы должны глядеть, в частности, на Сахалин, как военные на Севастополь,

– пишет он Суворину перед поездкой (П., т. 4, с. 32)<sup>2</sup>. То есть этот остров для него не только место страданий, но и место русской славы, героизма, а также возможного только в России обессмысливания самого героического подвига. Сахалин оценивается писателем как место исключительное, равноценное Севастополю, а его поездка туда мотивируется одновременно и гражданскими, и нравственными, и чисто профессиональными (исходящими от лица врача) соображениями.

Далее Чехов выдвигает еще один довод:

После Австралии в прошлом и Кайены Сахалин – это единственное место, где можно изучать колонизацию из преступников; им заинтересована вся Европа, а нам он не нужен? [Там же].

Иначе говоря, в своем виртуальном, предварительном приближении к Сахалину он вставляет его в контекст других знаменитых мест отселения преступников, настаивает на его изучении

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Н. М. Ядринцев в известном сочинении «Сибирь как колония» свою задачу видел в том, чтобы «рассеять предубеждение и ложное понятие о нашем Востоке... и показать, что этот край мог бы при лучших условиях быть страной довольства, богатства и счастья» [Ядринцев, с. 9]. Чехов знал эту книгу.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Здесь и далее все цитаты из чеховских текстов приводятся с указанием в круглых скобках номера тома сочинений (С.) или писем (П.) и страницы по изданию: [Чехов].

и вводит термин «колонизация», причем употребляет его в специальном значении<sup>3</sup>. Можно констатировать, что в этом письме Чехов подступает к Сахалину с двоякой позиции: как русский человек и писатель-классик («место страданий», которому нужно «поклоняться», – едва ли не цитация из Достоевского) и как человек западной цивилизации, для которой, по М. Фуко, центральной практикой Нового времени выступал осмотр-дознание или обследование - «средство фиксировать или восстанавливать норму, правило» в целях селекции индивидов и групп и составления из них «нормального социального тела» [Визгин, с. 121] (см. также: [Фуко]). Хотя, повторяю, «нормального социального тела» Чехов от Сахалина не ждал изначально, и, как мы помним, ожидания его вполне оправдались. Но это сочетание нравственной вины и ответственности за «проклятый остров» и «невыносимые страдания», которые испытывают его обитатели, наряду с позицией наблюдателя-исследователя, чье «знание» дает ему также и определенную власть, пусть чисто моральную, характеризует сознание русской интеллигенции всей второй половины XIX в., и несмотря на ироническое отношение Чехова к еще живой в его время традиции, он, как показывает анализ, внутренне разделял его.

На самом острове, если судить чисто по тексту книги, Чехов занимал преимущественно вторую позицию – наблюдателя и исследователя, собирающего статистические данные, иногда врача. Если к этому добавить комментарии, раскрывающие его реальные действия, но не описанные в книге (помощь заключенным и ссыльным) и изредка упоминаемые в письмах (его личные переживания во время и после телесных наказаний заключенных и т. д.), а также более внимательно отнестись к скрытому эмоциональному пафосу автора, то окажется, что и первая позиция – русского писателя, движимого главным образом нравственными, гражданскими порывами, в поведении и письме Чехова вполне прослеживается<sup>4</sup>. Но на первый план он выдвигает

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> По «Большому толковому словарю современного русского языка» Д. Н. Ушакова (1938–1940), колония в одном из значений слова – «поселение, общежитие лиц, поселяемых там властью с исправительными и трудовыми целями. Колония малолетних преступников. Трудовая колония беспризорных» [Ушаков]. В словаре В. И. Даля подобного значения слова нет, колония – это «население иноземцев, поселок выходцев, переселенцы из другой земли» [Даль]. Само сопоставление Сахалина с Австралией и др. показывает, что Чехов был в курсе процесса международной судебной реформы, захватившей всю вторую половину века. Остров переходит в собственность России по договору с Японией 1875 г. и сразу становится местом каторги и ссылки. По словам исследователя, «Предложение колонизовать Сахалин заключенными было частью более масштабного процесса тюремной реформы и рассматривалось международными специалистами как многообещающая и гуманная инициатива. Рассматривая негативную репутацию Сахалина в общем контексте модерности, мы видим, что такая репутация сложилась у острова отчасти из-за того, что эти планы так и не были осуществлены (по причинам, не зависевшим от специалистов)» [Коррадо, с. 34].

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Текст Чехова не исчерпывается реализацией указанных позиций автора, в нем есть мощный мифопоэтический (архетипический) слой. См. об этом: [Габдуллина].

вторую и делает это сознательно («Мой "Сахалин" – труд академический. И я получу за него премию митрополита Макария» (П., т. 5, с. 258)). А для того, чтобы уж совсем не запугать читателя «педантством» и отдать минимальную дань «беллетристическому гардеробу» (Там же), а также, подозреваю, из скромности, он формирует определенное лицо своего рассказчика – лицо «чудака», впервые попавшего в чужие и странные для него обстоятельства; об этом он также сообщал в письме к Суворину:

Я долго писал и долго чувствовал, что иду не по той дороге, пока наконец не уловил фальши. Фальшь была именно в том, что я как будто кого-то хочу своим «Сахалином» научить и вместе с тем что-то скрываю и сдерживаю себя. Но как только я стал изображать, каким чудаком я чувствовал себя на Сахалине и какие там свиньи, то мне стало легко, и работа моя закипела, хотя и вышла немного юмористической [Там же, с. 217].

Поэтому не случайно очерки Чехова открываются темой и проблемой идентичности, то есть возможности для самого автора-рассказчика прижиться к новым местам и почувствовать их как в чем-то свои, не абсолютно чужие. Переживание это дается рассказчику с немалым трудом и наполняет первые главы книги, а в семантическом поле идентичности и возникает тема колонизации.

О нерусскости, чуждости ему как выходцу из России восточных пределов страны, куда он наконец приехал, пройдя через весь материк, рассказчик говорит в прямом слове:

Если внимательно и долго прислушиваться, то, Боже мой, как далека здешняя жизнь от России! Начиная с балыка из кеты, которым закусывают здесь водку, и кончая разговорами, во всем чувствуется что-то свое собственное, нерусское (С., т. 14–15, с. 42).

И сразу возникает сравнение, содержащее колониальный маркер:

Пока я плыл по Амуру, у меня было такое чувство, как будто я не в России, а где-то в Патагонии или Техасе; не говоря уж об оригинальной, нерусской природе, мне все время казалось, что склад нашей русской жизни совершенно чужд коренным амурцам, что Пушкин и Гоголь тут непонятны и потому не нужны, наша история скучна, и мы, приезжие из России, кажемся иностранцами (Там же).

Чеховский рассказчик (а по сути, сам автор) воспринимает «русский Восток» как совершенно иную землю, иную страну, подвергающуюся со стороны России внешней прямой колонизации. Во время своего долгого путешествия Чехов неоднократно пересекал воображаемые границы: это чувство он испытывал на Урале (на Каме и в Екатеринбурге), в Сибири – настолько там все было иным, отличным

от России, наконец, еще одна граница, отделяющая его от родины, приходится на Амур. Исследователи же проблемы колонизации замечают: «...колонизация, как правило, означает путешествие за границу» [Эткинд, Уффельман, Кукулин, с. 18]. Отсюда, в дискурсе Чехова возникает сравнение с американскими штатами, «узаконенное» в русской общественной и литературной мысли: не только Ф. Тёрнер, но и Н. Ядринцев, А. Щапов и многие другие достаточно часто сравнивали процессы освоения новых земель в России и Америке (об их отличии, пожалуй, писать стали больше уже в XX в.), и в «Петербургских записках 1836 года» Н. В. Гоголь замечал: «Трудно схватить общее выражение Петербурга. Есть что-то похожее на европейско-американскую колонию; так же мало коренной национальности и так же много иностранного смешения, еще не слившегося в плотную массу» [Гоголь, с. 483]. В силу обилия черт «нерусскости» в окружающем мире чеховский рассказчик позиционирует себя как именно и сугубо русского человека: он русский вообще, что-то читавший о здешних местах, но каждый раз поражающийся увиденному - настолько оно не похоже на оставленное дома. Поэтому и имя Гоголя, прозвучавшее в его нарративе, можно рассматривать как симптоматичную проговорку: в «Мертвых душах» критиков поражало обилие слова «русский» – это в центре-то России – гиперболизация русскости России, ее нарочитое педалирование, доходящее до гротеска. У Чехова из антитезы «русский, русское – нерусский, нерусское» в дальнейшем повествовании вырастет кардинальная оппозиция России и Сахалина, а пока на пароходе, плывя на остров, он отмечает оксюморонное столкновение этнонимов:

Прислуга тут – китайцы с длинными косами, их называют поанглийски – бой. Повар тоже китаец, но кухня у него русская, хотя все кушанья бывают горьки от пряного кери и пахнут какими-то духами вроде корилопсиса (С., т. 14–15, с. 44).

Столкновение противоположного в одном, рождающее парадокс, оксюморон, антитетичность, проходит через всю книгу Чехова.

Непохожесть на свое родное, русское проявляется во многом: другая еда, другие разговоры («говорят о золоте, о понтах, о фокуснике, приезжавшем в Николаевск, о каком-то японце, дергающем зубы не щипцами, а просто пальцами» (Там же, с. 42)), другая нравственность – «какая-то особенная, не наша. Рыцарское обращение с женщиной возводится в культ, и в то же время не считается предосудительным уступить за деньги приятелю свою жену» (Там же, с. 43), равнодушие к искусству, религии, политике. Чехова лично задевает отсутствие элементарных удобств – того, что зовется цивилизацией («Гостиницы в городе нет»), хотя, попав наконец на пароход, он удивляется интеллигентности команды и пассажиров и предупреждает об этом читателей:

По Амуру и в Приморской области интеллигенция при небольшом вообще населении составляет немалый процент, и ее здесь относительно больше, чем в любой русской губернии (С., т. 14–15, с. 44).

Позднее, уже на Сахалине, он остро ощущает чуждость здешней природы тому, к чему привык в России:

Ни сосны, ни дуба, ни клена – одна только лиственница, тощая, жалкая, точно огрызенная, которая служит здесь не украшением лесов и парков, как у нас в России, а признаком дурной болотистой почвы и сурового климата (Там же, с. 56–57).

Привязанность рассказчика к «русскости», состояние чужого и чуждости окружающего мира актуализирует поиск идентичности – отсюда сравнение амурского края с американскими штатами, а своих чувств – с ощущениями другого путешественника:

Кажется, что тут конец света и что дальше уже некуда плыть. Душой овладевает чувство, какое, вероятно, испытывал Одиссей, когда плыл по незнакомому морю и смутно предчувствовал встречи с необыкновенными существами (Там же, с. 45).

И то, и другое носит чисто книжный характер. Но далее идентификация идет через личные впечатления автора Чехова: в бухте Де-Кастри, где пароход долго выгружался, рассказчик с механиком удят рыбу:

...и нам попадались очень крупные толстоголовые бычки, каких мне не приходилось ловить ни в Черном, ни в Азовском море (Там же, с. 37).

Чужое обживается через отождествляющее сравнение с привычным, хотя бы знакомым: так работает ассоциативный механизм нашего сознания.

Сравнения с Россией и русским, буквально преследующие рассказчика, чаще всего получаются в пользу Сахалина. Но, по Чехову, в оппозиции Сахалина и России живут и мыслят большинство тех, кто прибыли на остров не по своей воле, да что там – не большинство, а абсолютно все. Хозяйка квартиры, на которую в Александровске извозчик привез Чехова, вздыхает:

Заехали в эту пропасть! <...> Теперь у нас в Тамбовской губернии, чай, жнут... а тут глаза бы мои не глядели (Там же, с. 57).

Скучно здесь, ваше высокоблагородие, – говорит кучер-каторжный. – У нас в России лучше (Там же, с. 66).

Бинарность языка и мышления, отчетливое противопоставление «своего» и «чужого» – признак как мифологического, так и обыденного сознания, она же, согласно классической схеме Э. Саида, лежит в основе ориентализма как способа мышления, основанного на онтологическом различении Запада и Востока [Саид]. Как мы уже убедились, различие России и Востока (в данном случае по отношению к центру России – буквального, географического Востока, или, как принято говорить, Дальнего) для Чехова разительно и безусловно, причем в дальнейшем его нарративе сахалинский Восток будет обладать всеми хрестоматийными признаками Востока по Саиду, то есть отсталостью, несвободой, инертностью, развращенностью и «верхов», и «низов» и т. д. Но в дискурсе Чехова ситуация оказывается сложнее, ибо его стремление видеть всё (см. далее) не позволяет остановиться на точке зрения, укладывающейся в рамки примитивной идеологемы.

Впоследствии, когда жизнь Сахалина предстает перед рассказчиком во всех своих однообразных подробностях и безобразиях, обнаруживается ее вполне даже русскость, то есть типичность для страны в целом. Причем национальный стереотип побеждает инаковость и исключительность сахалинских примет чаще всего в негативе, ср.:

Как известно, это удобство у громадного большинства русских людей находится в полном презрении. <...> Презрение к отхожему месту русский человек приносит с собой и в Сибирь (С., т. 14–15, с. 90).

На этом туннеле (из Александровска в Дуэ. – E. C.) превосходно сказалась склонность русского человека тратить последние средства на всякого рода выкрутасы, когда не удовлетворены самые насущные потребности» (Там же, с. 127).

Начав свою перепись и обходя дома в Александровске, рассказчик выделяет настроение скуки как некое всеобщее состояние:

А из сеней или с печки, как бы в насмешку над всеми этими надеждами и догадками, доносился голос, в котором слышались усталость, скука и досада на беспокойство... (Там же, с. 75).

Скука – привычное состояние русского человека и русской жизни, зафиксированное в русской литературе неоднократно – от Гоголя до Чехова и дальше к Горькому, Бунину, Набокову... Скука – некий экзистенциал русской жизни, можно говорить о метафизике скуки в России. Скука на Сахалине тоже своя, особенная, связанная с отсутствием многого привычного и необходимого для нормальной жизни, в том числе надежды на нормальную жизнь. В очерках «В Сибири» скуку испытывает сам Чехов-рассказчик. На Сахалине начальник острова генерал В. О. Кононович предупреждает писателя, что «жить здесь тяжело и скучно» (Там же, с. 60). Но в беспристрастный нарра-

тив чеховской «переписи» именно в связи с темой скуки вдруг врывается лирическая нота: «...нет кошки, по зимним вечерам не бывает слышно сверчка... а главное, нет родины» (С., т. 14–15, с. 73): вот какова истинная причина глубинной сахалинской скуки.

Постепенно вживаясь в сахалинскую среду, свыкаясь с ней хотя само по себе это «свыкание», как убеждает нас автор, по сути невозможно, ибо противоестественно для нормальной человеческой психики, Чехов в личном опыте наблюдений и анализа проверяет те знания и представления об острове, что он получил из книг, а наряду с этим как бы опробует классические модели колонизации на возможность их применения на острове. Это основное значение слова «колонизация» - не тюремная, а хозяйственная эксплуатация острова - теперь становится важно для писателя: только она и позволила бы этой земле состояться как земле для людей, то есть иметь будущее. На это в целом и рассчитывало правительство, надеясь посредством ссыльнокаторжных заселить и колонизовать остров. Как писал начальник Главного тюремного управления М. Н. Галкин-Враскин, «сахалинская тюрьма призвана служить не только исполнению присужденного наказания, но также развитию и упрочению поселений» (цит. по: [Троицкая, с. 29]). Понятно, что Чехов мыслит не в русле позднейшей постколониальной критики - он рассматривает колонизацию в позитивном смысле и плане, использует существовавшую на тот момент в употреблении в российском сознании (и правительственном, и интеллигентском) модель колонизации как стратегии, предполагающей «массовое вселение в некультурную или малокультурную страну выходцев из какого-либо цивилизованного государства»<sup>5</sup>, за которой обычно следует промышленное освоение заселяемого региона. Мало того - он проникается языком этой модели и подчас ведет описание своего опыта наблюдений над Сахалином на языке, вполне ей адекватном. Этот язык, в основе которого лежит тотальная оппозиционность Сахалина и России, начинает руководить его сознанием: язык российского интеллигента (как бы иронично, а порой и негативно он ни относился к российской интеллигенции), человека «центра», чья родина – далеко к западу от Сахалина, то есть выходца не просто из России, но из очень удаленного от острова ее региона, наконец, человека преимущественно городского сознания. Этот язык оказывает определяющее влияние на то, что он видит, воспринимает и, соответственно, описывает в книге. В одном из писем он так и говорит: «Я видел всё; стало быть, вопрос теперь не в том, что я видел, а как видел», и, сомневаясь в собственной способности реально увидеть всё, далее замечает: «...у меня такое чувство, как будто я видел всё, но слона-то и не приметил» (П., т. 4, с. 133).

 $<sup>^5</sup>$  Таково значение колонизации в словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона [Брокгауз, Ефрон].

Колониальное сознание, замечает это его носитель или нет, всегда «сверху» и «вне», пространство, которое колонизуется, для него всегда «иное», «другое», чуждое. Достаточно ярко указанная позиция, отмеченная нами в отношении не только Чехова, но и многих сахалинских обитателей<sup>6</sup>, проявляется в описании в книге сахалинских «инородцев». Проблему коренных жителей писатель не то чтобы игнорирует – он не очень актуализирует ее как проблему, точнее, положение гиляков (нивхов), айнов, теснимых каторгой, затушевывается самой каторгой, ее общей гибельностью для кого бы то ни было, так что гиляки здесь не исключение, они лишь скорей поддаются порче в силу большей естественности их натуры. Загадкой остаются айно, и Чехов останавливается на них больше, чем на других народах. Он отмечает их антропологические особенности, их отличия не только от русских, но и от гиляков, их загадочное происхождение. При этом он остается на позиции «европейца», даже подчеркивает ее («Над огнем висит на крюке большой черный котел; в нем кипит уха, серая, пенистая, которую, я думаю, европеец не стал бы есть ни за какие деньги. Около костра сидят чудовища» (С., т. 14-15, с. 220); ср. также описание женщин, наружность которых «называют безобразной и даже отвратительной»), но с ней сочетается чисто человеческий интерес автора к таинственному племени. Самое, пожалуй, поразительное и важное для Чехова в айно - это их внутренняя «интеллигентность», «культурность» и человечность, то есть качества, вполне универсальные для любого народа. «Всякое насилие вызывает в них отвращение и ужас» (Там же, с. 221). Рассказу о насильственной колонизации айно русскими казаками, состоявшейся еще в XVIII в., сопутствует чисто чеховская зарисовка настоящего дня этого народа:

В настоящее время айно, обыкновенно без шапки, босой и в портах, подсученных выше колен, встречается с вами по дороге, делает вам реверанс и при этом взглядывает ласково, но грустно и болезненно, как неудачник, и как будто хочет извиниться, что борода у него выросла большая, а он еще не сделал себе карьеры (Там же, с. 218–219).

Как показывает современный анализ проблемы этого ныне почти вымершего народа, айно оказались «в положении безвыходном» (Там же, с. 218), будучи «распяты» между Россией и Японией, в конце концов это и привело их к грани полного исчезновения (об айнах см.: [Высоков, с. 485–486; Левковская]).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Анализируя язык официальных документов, согласно которым Сахалин превращался в «колонию ссыльнокаторжных», Ш. Коррадо пишет: «Этот языковой сдвиг представляется мне первым признаком перехода Сахалина в категорию Другого, создания образа Сахалина как чего-то далекого и чуждого России, дальней колонии, которой Россия сознательно противопоставляла себя в процессе собственного самоопределения» [Коррадо, с. 38].

Как и многие современники, Чехов говорит о развращающем действии русской колонизации на «инородцев», в частности, о разлагающем влиянии тюрьмы на гиляков. Вопрос о «метизации» русского населения вследствие скрещиванния с «инородцами», волновавший Н. Ядринцева, А. Щапова, К. Носилова, здесь не ставится: вероятно, сам характер колонизации, а также тип «колонизуемых», несмотря на хронический недостаток на острове женского элемента, не допускал его постановки.

Рассматривая пути колонизации, Н. М. Ядринцев выделял такие ее виды, как вольная, военная или казенная, промышленная или торговая. Наиболее благоприятной для развития края, конечно же, считалась вольная колонизация, которая, однако, в России обычно сочеталась, следовала за, а иногда и предшествовала колонизации казенной, а также монастырской, вызывая, в свою очередь, промышленную [Ядринцев, с. 132]. «Движущей силой российской колонизации, по Щапову, были не меч и ружье, но топор и следовавший за ним плуг» [Эткинд, с. 98]. Для Чехова также очевидно, что никакое государственное освоение края не может быть успешным без народной основы и поддержки, тем более что позади - огромные пространства Сибири, Амура, принимающие и поглощающие переселенцев. На Сахалине все иначе, люди не принимают остров, и остров отторгает пришельцев. Основной причиной этого писатель видит насильственный характер происходящей здесь колонизации, ее соседство с тюрьмой, подмену мотивов и целей: «Тюрьма – антагонист колонии, и интересы обеих находятся в обратном отношении», «стадная жизнь» заглушает «инстинкты оседлого человека, домовитого хозяина» (С., т. 14-15, с. 228). В свою очередь, служащие на острове чиновники, начальство сделали из каторги сугубо русский институт:

Это не каторга, а крепостничество, так как каторжный служит не государству, а лицу, которому нет никакого дела до исправительных целей или до идеи равномерности наказания; он не ссыльнокаторжный, а раб, зависящий от воли барина и его семьи, угождающий их прихотям, участвующий в кухонных дрязгах (Там же, с. 98).

...Русский интеллигент до сих пор только и сумел сделать из каторги, что самым пошлым образом свел ее к крепостному праву (Там же, с. 209).

Используя введенный в обиход А. Эткиндом термин, можно сказать, что Чехов вскрывает «внутренний» характер колонизации острова: редуцирование задач как внешней (хозяйственной) колонизации, так и исправительной (поскольку Сахалин был превращен в одну большую исправительную колонию) к главной беде России – крепостному праву, никак не уходящему в ее историческое прошлое,

и в этом плане аналитизм авторской позиции перекрывает наивно-колониальный язык рассказчика-«чудака», который никак не может освоиться в чужом пространстве $^7$ .

Остров открывается герою-рассказчику постепенно, и своеобразным вступлением в островную жизнь, подготовкой к ней становятся все те впечатления, что он переживает еще на материке, затем на пароходе, затем в первом пункте своего прибытия – в Александровске. Так же поэтапно жизнь острова и его обитателей раскрывается перед читателями в чеховском нарративе. Рассказывая об административно-чиновничьей среде Александровска, с которой он знакомится по прибытии, автор как бы подготавливает читателя к погружению в жизнь совершенно иной среды, с которой он сам соприкасался, осуществляя перепись. Как неоднократно указывалось прежде, нарратив Чехова неоднороден, включает в себя разножанровые компоненты, авторские описания и комментарии чередуются с чисто миметическими сценками, с научными и публицистическими фрагментами, наконец, с добросовестным фактографическим анализом островных проблем, приправленным статистическими данными и ссылками на иные источники, известные автору<sup>8</sup>.

В плане аналитического построения книги и опоры ее художественно-публицистического формата на язык цифр одним из предшественников Чехова может по праву считаться Г. Успенский, а наряду с ним и другие народнические писатели и публицисты. В плане сочетания объективного изложения наблюдаемой картины с личным отношением к ней автора книги можно поставить рядом с Ф. Достоевским – его «Дневником писателя». Характерен чисто повествовательный момент, сближающий нарративы этих художников. В «Дневнике писателя», ведя автодиегетическое повествование, Достоевский отказывается от той полифонической позиции, что выдержана в его романах, становится «монологистом», излагающим и отстаивающим личную точку зрения на события, сколь бы спорной она ни была

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Судя по оценкам результатов колонизации Сахалина посредством труда осужденных – как тогдашним, так и современным, оценки Чехова чаще всего были справедливы. Характерно название одной из статей об этом феномене: «Сахалинская каторга как неудачный экономический эксперимент». Ее автор заключает: «Экономическое развитие Сахалина было таким, каким и могло быть в данных условиях в составе Российской самодержавной государственности» [Троицкая, с. 32]. Другой участник дискуссии о колонизации Сахалина полагает, что к 1905 г., когда каторга на острове была отменена, свои задачи создания демографического ресурса для последующей сельскохозяйственной колонизации она выполнила: «...несмотря на экзотичность такого подхода к делу колонизации острова, он не противоречит самой имперской стратегии колонизации по вышеописанному алгоритму: сначала воин, потом – пахарь» [Щеглов, с. 90]. Однако проблема осмысления и оценки «каторжного прошлого» острова до сих пор не решена его жителями.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> См., например: [Сухих, 1985; Сухих, 2007, с. 135–157; Катаев, 1974]. Как пишет в своей последней статье на эту тему чешский ученый Иво Поспишил, чеховский «Остров Сахалин» – это «...сложная полиморфная гетерогенная структура, впитывающая разные типы прозы». Более того, исследователь считает книгу Чехова «не первым, но все-таки, пожалуй, самым выразительным признаком заката русского классического романа» [Роѕріšі].

(а спорность ее подчас более чем очевидна). Публицист побеждает художника – так можно охарактеризовать этот случай. В книге Чехова мы видим аналогичное явление, но на ином, сугубо чеховском повествовательно-литературном материале. Это практически полное отсутствие так называемого «слитного повествования», феноменов несобственно-прямой речи персонажей, когда рассказчик-повествователь ведет свой рассказ «в духе» персонажа и его голосом, в характерной для него манере [Катаев, 2001, с. 221], чем Чехов так обновил русскую прозу рубежа веков и что ставят обычно ему в заслугу. В «Острове Сахалине» Чехов отступает от достижений собственной прозы - его повествование в речевом и стилевом плане носит везде одинаково ровный характер; используя выражение В. Б. Катаева, Чехов, подобно другим современным ему авторам, выстраивает повествование «по иным принципам: интеллигентный повествователь адресуется среднеинтеллигентному читателю, вниманию которого предложен достаточно экзотический материал, но изложенный на языке межинтеллигентского общения, чуждом описываемой среде» [Там же, с. 223]. Конечно, Чехов остается Чеховым, и его стиль не уподобляется стилю речи П. Боборыкина или А. Амфитеатрова, но «сливать» свое повествование с речью и рассказами сахалинцев, передоверять им свое слово, отступать в сторону и созерцать возникающие при этом в обрамляющем авторском нарративе «другие миры», используя при этом свое главное оружие – иронию, Чехов не стал<sup>9</sup>. Причины, по-видимому, в той самой чуждости и абсолютной инородности сахалинского материала - это с одной стороны, а с другой в этической позиции писателя: ирония в отношении жизни, находящейся на пределе, а иногда и за границей человечности, невозможна, ибо безнравственна.

Однако Чехов остается мастером изобразительного рассказа в миметических картинках, разряжающих атмосферу скорбного сахалинского дискурса. Диалоги, которые введены на страницах главы, рассказывающей об Александровске и его чиновничье-интеллигентских слоях, напоминают диалоги персонажей из чеховских рассказов, записных книжек. С последними их сближает отсутствие авторского остраняющего комментария, хотя временами здесь (в отличие от всего последующего повествования о собственно Сахалине) проявляется особенная чеховская манера подмечать человеческие слабости и «играть» на них (так, главным объектом слабо выраженной чеховской иронии становится доктор, «похожий на Ибсена», пишущий жалобы и доносы «в защиту правды и из человеколюбия» (С., т. 14–15, с. 44)).

Интересно проследить за структурным различием внутри чеховского нарратива. Оно определяется жанровым характером того или

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Это не исключает введения фигуры дополнительного рассказчика и создания своеобразного «текста в тексте», но и «Рассказ Егора» (6-я глава) в составе книги Чехова единичен; сам же рассказчик Егор представлен как однозначно «другой», самостоятельный нарратор, в зону которого автор-повествователь не входит.

иного фрагмента повествования. Рассказ о своем путешествии и своих впечатлениях, открытиях, наблюдениях обычно ведется повествователем в традиционном простом прошедшем времени – простом повествовательном («Я ходил... Я зашел... Я согласился...»). Однако как только в его поле зрения вторгается «другой», его изобразительный «объект», время повествования меняется на настоящее, нарратив драматизируется, и тем самым возникает эффект большей достоверности описываемого мира, большей приближенности его к читателю:

С первых же слов этот офицер произвел на меня впечатление очень доброго человека и большого патриота. Он кроток и добродушно рассудителен, но когда говорит о политике, то выходит из себя и с неподдельным пафосом начинает говорить о могуществе России и с презрением о немцах и англичанах, которых отродясь не видел. Про него рассказывают... (С., т. 14–15, с. 43).

Выход за пределы обычного повествовательного времени, раскрывающий нарратив навстречу воспринимающему сознанию, в контекст сейчас протекающий жизни характерен для финалов ряда зрелых произведений Чехова («Ионыч», «Невеста» и др.) и обычно претендует на некое обобщение, порой даже символизацию заключительной картинки как типической для русской жизни – так происходит сейчас, так происходит всегда, так происходит до сих пор. Однако этот же принцип сохраняется у Чехова и при описании им собственных наблюдений рассказчика за жизнью сахалинцев-каторжников. Здесь обычным является как раз настоящее время рассказа о том состоянии каторги и каторжных, которое характерно не только для настоящего момента времени, но и для жизни Сахалина «вообще», без какой-либо темпоральной локализации, например:

Каторжные разряда испытуемых живут в избах и часто поэтому несут более слабое наказание... <...> Пахотной землей пользуются только 36 хозяев... <...> Вопрос, на какие средства существует население Александровска, до сих пор остается для меня не вполне решенным (Там же, с. 66–67).

Обычно этот «временной» язык используется в публицистических, научных и документальных нарративах, с которыми граничит и которые использует текст «путевых записок» Чехова. Но в формате его целостной книги – книги писателя, художника, беллетриста – рядом с уже отмеченными миметическими картинками использование настоящего времени повествования обретает особую функцию. Все, что фиксирует рассказчик, происходит всегда, постоянно – это есть безотносительно к поведению рассказчика, к его пребыванию на острове, это длится, а он сам, будучи погружен в процесс наблюдений и регистрации, превращается в некий инструмент этих действий,

в безличную машину, призванную лишь осуществлять опрос и запись, но не допускать себя до эмоций. Вот уж поистине – позиция и деятельность автора-рассказчика здесь являет собой процедуру осмотра-дознания, о которой в применении к новому времени, напоминаем, писал Фуко. Эта позиция «знания-власти», которую осознанно занял Чехов и на которую его вывел сам язык анализируемого материала, по-видимому, спасает его от поглощенности чувством вины – противоположным полюсом интеллигентски-ориенталистского сознания. В итоге в своего рода «проигрыше» оказывается чеховская художественность, что было отмечено его современниками и что, собственно, и порождает эффект «трудного» чтения текста Чехова, а наряду с тем его чрезвычайно сильное воздействие на читателя<sup>10</sup>.

Однако бесстрастный анализ и сухое изложение сахалинских впечатлений даются автору непросто. Несмотря на свою чужеродность, эта жизнь затягивает как омут, и в тексте постоянно возникает внутренняя напряженность, с которой автор-рассказчик удерживает себя на занятой позиции, чтобы не соскользнуть в аффект, не уйти в истерию, в цинизм или безумие, как бы ни были неприменимы к Чехову все эти состояния. Показательно, например, изображение сахалинского моря: в окончательном тексте остались более скупые отредактированные автором строки (С., т. 14–15, с. 146), в черновике – апелляция к личным воспоминаниям и впечатлениям автора-рассказчика:

Читатель видел во сне такое море, когда его давил кошмар. Когда ночью с меня падает одеяло, [и] я [мерзну], зябну, и меня начинает [давить] угнетать кошмар, тогда я во сне вижу такое море (Там же, с. 473).

#### Симптоматичен эпизод в рассказе о Воеводской тюрьме в Дуэ:

Помнится, по дороге от старого рудника к новому мы на минутку остановились около старика-кавказца, который лежал на песке в глубоком обмороке; два земляка держали его за руки, беспомощно и растерянно поглядывали по сторонам. Старик был бледен, руки холодные, пульс слабый. Мы поговорили и пошли дальше, не подав ему медицинской помощи. Врач, который сопровождал меня, когда я заметил ему, что не мешало бы дать старику хоть валериановых капель, сказал, что у фельдшера в Воеводской тюрьме нет никаких лекарств (Там же, с. 142).

Эпизод тем более впечатляет, если вспомнить, что сам Чехов – врач. Комментарием к этой, казалось бы, невыносимой для сознания интеллигента индифферентности рассказчика может служить строка

 $<sup>^{10}</sup>$  См. об этом и о самом процессе работы писателя над текстом очерков, когда он сознательно удалял следы авторской субъективности, в комментариях М. Л. Семановой к произведению Чехова: (С., т. 14–15, с. 786–800).

из стихотворения Некрасова: «Плачет старуха. А мне что за дело? / Что и жалеть, коли нечем помочь? / Слабо мое изнуренное тело...» («В деревне») [Некрасов, с. 28]. В дискурсе шестидесятников, предшествовавших поколению Чехова, была поставлена эта проблема вынужденной бесстрастности, безэмоциональности письма, наклонного вызывать не жалость – уже «пройденное», обжитое литературой чувство, а некие другие эмоции и переживания, может быть, более действенные, а может быть, и не эмоции вовсе, а непосредственные побуждения к действию. В чеховских очерках «Из Сибири» есть симптоматичный фрагмент:

Я не люблю... когда он [интеллигентный ссыльный] разговаривает со мною о пустяках и при этом смотрит мне в лицо с таким выражением, как будто хочет сказать: «Ты вернешься домой, а я нет». Не люблю потому, что в это время мне бесконечно жаль его (С., т. 14–15, с. 24).

Он не может позволить себе жалость, поскольку «что и жалеть, если нечем помочь».

Письмо Чехова преимущественно безоценочно и строго. Оценки рисуемых автором картин если и даются, то прямые и достаточно безальтернативные – не в чеховском духе косвенного письма, или же не даются вовсе. Причина этого не столько в жанровой установке, сколько в самом материале, в той предметности, к которой обращен текст:

...Сарайная жизнь, в полном смысле нигилистическая, отрицающая собственность, одиночество, удобства, покойный сон (Там же, с. 88).

С самого основания Дуэ здешняя жизнь вылилась в форму, какую можно передать только в неумолимо-жестоких, безнадежных звуках... (Там же, с. 132).

...Были моменты, когда мне казалось, что я вижу крайнюю, предельную степень унижения человека, дальше которой нельзя уже идти (Там же, с. 152).

Чеховский «натурализм» и здесь мотивирован теми же посылками, что и сухая «плохопись» шестидесятников – Н. Помяловского, Ф. Решетникова: изображаемая ими жизнь находится за пределами литературы и вообще культуры, ее адекватное воссоздание средствами «изящной словесности» невозможно, ибо будет ложью, отсюда фактографическое натуралистическое бытописательское письмо, имитирующее отсутствие последнической сферы между реальностью и читателем, точнее, признающее только одну степень этой медиации – личное восприятие ее рассказчиком и личный рассказ о ней вне литературных канонов. Этому способу письма следует Чехов, повествуя о нравах, обычаях, людях каторги.

Документально-публицистическое письмо шестидесятников диктовалось сознательной установкой на воссоздание реальности, увиденной собственными глазами автора и не прошедшей через процедуру домысливания и литературной обработки. Оно выразило себя не только в беллетристических жанрах, но и в сочинениях рождающейся наново науки этнографии, в России заменяющей западную антропологию и всецело обращенной к исследованию жизни народа. Художественно-этнографические произведения С. Максимова, И. Железнова, Н. Лескова, А. Писемского, А. Мельникова-Печерского и мн. др. как раз и были нацелены на освоение просторов России и познание ее жителей; к концу века на этой основе сформировалось целое направление этнографической беллетристики (см.: [Созина]), ее авторы были современниками Чехова, а подчас и хорошими знакомыми. Колонизационный характер и «русский» (несравненно более мягкий, чем тот, что у Саида) вариант ориентализма в этой литературе несомненен, прослеживается в авторской установке, в интенциях рассказчиков, характере изображения и оценок и пр. Как мы стремились показать, на близких принципах письма построена книга Чехова «Остров Сахалин», образующая, однако, гораздо более сложное и интересное художественное единство, чем любое из сочинений писателей-этнографов. Обрамляющий «сверхтекст» «Острова Сахалина» продолжается комментариями и репликами автора в его письмах. Так, и тема колонизации острова имеет свое завершение в рассказе Чехова о посещении им островов Юго-Восточной Азии, когда он возвращался с Сахалина в Россию.

Посещение Гонконга оставило у Чехова самые приятные впечатления, и он пишет Суворину:

Я думал: да, англичанин эксплоатирует китайцев, сипаев, индусов, но зато дает им дороги, водопроводы, музеи, христианство, вы тоже эксплоатируете, но что вы даете? ( $\Pi$ ., т. 4, с. 139).

Противопоставление автором российского и западного типов цивилизаций, колонизаций, культур очевидно:

Цейлон – место, где был рай. Здесь в раю я сделал больше 100 верст по железной дороге и по самое горло насытился пальмовыми лесами и бронзовыми женщинами (Там же, с. 140).

В том же самом письме Сахалин привычно именуется адом («Сахалин представляется мне целым адом» (Там же, с. 139)), в этом плане оценка Чехова, возникшая еще до посещения острова, не меняется. Происходит инверсия традиционной оппозиции: классический Восток остров Цейлон – уподобляется раю, тогда как географически находящийся западнее и заселенный главным образом русскими, то есть белыми людьми остров Сахалин – это ад. Хотя при всем том Восток остается Востоком: легкодоступные бронзовые женщины, рикши, пальмы,

жара... Русский Восток и западный (преимущественно английский) Восток – вот суть оппозиции. А если учесть, что Сахалин доводит до предела многие отвратительные черты России, если пересечение границы начинается у Чехова вместе с пересечением Уральского хребта, и вся Сибирь, а до того Екатеринбург и Кама уже могут претендовать на мифопоэтику лиминального пространства, наконец, если вспомнить рассказ Чехова «Палата номер шесть», написанный после Сахалина и под его впечатлениями (а «палата номер шесть», как известно, представляет собой обобщающий символ России), и многое, многое другое, то тогда окажется, что «русский Восток» – это поистине вся страна, колонизированная «изнутри» самыми нецивилизованными методами, обрести идентичность в которой всю жизнь стремился сам Чехов и стремится его герой, российский интеллигент-разночинец, тщетно пытающийся примирить в себе чувства вины и жертвенности с критически-аналитической опорой на логос и позитивное знание, дающее хоть какую-то «власть» над окружающим неструктурированным миром.

## Список литературы

Визгин В. П. Мишель Фуко – теоретик цивилизованного знания // Вопр. филос. 1995. № 4. C. 116-126.

Высоков М. С. Комментарий к книге А. П. Чехова «Остров Сахалин». Владивосток; Южно-Сахалинск: Рубеж, 2010. 848 с.

Габдуллина В. И. Структура нарратива в книге А. П. Чехова «Остров Сахалин»: архетипический и культурный подтекст // Нарративные традиции славянских литератур: от Средневековья к новому времени: К юбилею члена-корреспондента РАН Е. К. Ромодановской: материалы Всерос. науч. конф. Новосибирск: Омега Принт, 2014. C. 201-205.

*Гоголь Н. В.* Собрание сочинений: в 9 т. М., 1994. Т. 7. 624 с.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. URL: http:// www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Dal-term-13379.htm (дата обращения:

Катаев В. Б. Автор в «Острове Сахалин» и в рассказе «Гусев» // В творческой

лаборатории Чехова. М.: Наука, 1974. С. 232–252. *Катаев В. Б.* Реализм и натурализм // Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов): в 2 кн. М.: ИМЛИ РАН; Наследие, 2001. Кн. 1. С. 191–258.

Коррадо Ш. Сахалинская каторга и международная тюремная реформа // А. П. Чехов и Сахалин: взгляд из XXI столетия: материалы междунар. науч.-практ. конф. 21-22 сент. 2010 г. / Правительство Сахалин. обл.; мин-во культуры Сахалин. обл.; Сахалин.ский гос. ун-т. Южно-Сахалинск: Колорит, 2011. С. 33-40.

Левковская А. Ю. Айны в книге А. П. Чехова «Остров Сахалин» и их современное положение // XIII Чеховские чтения: Антон Павлович Чехов и книга «Остров Сахалин» в движении эпох: век XIX – век XXI / сост. И. А. Костанова; Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска. Южно-Сахалинск: СахГУ, 2010. С. 34–38.

Некрасов Н. А. Стихотворения: 1856 / изд. подгот. И. И. Подольская. М.: Наука,

Pospišil I. Остров Сахалин А. П. Чехова как лебединая песня русского классического романа и пути к новому роману // Pospišil I. На форпостах теории и истории классической русской литературы / Colloquia Literaria Sedlcensia : XX. Siedlce : Instytut Neofilologii I Badan Inyerdyscyplinarnych Universytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015. S. 177-182.

Савинков С. В. Зачем Чехов ездил на Сахалин // Литература путешествий: культурно-исторические и дискурсивные аспекты : сб. науч. работ / под ред. Т. И. Печерской. Новосибирск: Гаудеамус, 2013. С. 373-385.

Саид Э. Ориентализм: Западные концепции Востока. СПб.: Рус. мир, 2006. 638 с. Созина Е. К. Этнографическая беллетристика в русской литературе рубежа XIX-ХХ в. // Круги времен: В память Елены Константиновны Ромодановской / отв. ред. В. А. Ромодановская, И. В. Силантьев, Л. В. Титова; Ин-т филологии СО РАН. М.: Индрик, 2015. С. 625-636.

Cyxux И. Н. «Остров Сахалин» в творчестве А. Чехова // Рус. лит. 1985. № 3. С. 72–84. Сухих И. Н. Проблемы поэтики Чехова. 2-е изд., доп. СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, 2007, 497 c.

*Троицкая Н. А.* Сахалинская каторга как неудачный экономический эксперимент // А. П. Чехов и Сахалин: взгляд из XXI столетия: материалы междунар. науч.-практ. конф. 21–22 сент. 2010 г. / Правительство Сахалин. обл. ; мин-во культуры Сахалин. обл.; Сахалин. гос. ун-т. Южно-Сахалинск: Колорит, 2011. С. 29–32.

Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь современного русского языка. URL: http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ushakov-term-23943.htm (дата об-

ращения: 10.02.2016)

 $\Phi$ уко M. Надзирать и наказывать : Рождение тюрьмы / пер. с франц. В. Наумова ; под ред. И. Борисовой. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. 416 с.

*Чехов А. П.* Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 12 т. М.: Наvка. 1974-1983.

Щеглов В. В. Имперский мотив российской колонизации Дальнего Востока // А. П. Чехов и Сахалин: взгляд из XXI столетия: материалы междунар, науч.-практ. конф. 21–22 сент. 2010 г. / Правительство Сахалин. обл.; мин-во культуры Сахалин. обл.; Сахалин. гос. ун-т. Южно-Сахалинск: Колорит, 2011. С. 88–90.

Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона: в 86 т. URL: http://

www.vehi.net/brokgauz/ (дата обращения: 10.02.2016)

Эткинд А., Уффельман Д., Кукулин Д. Внутренняя колонизация России: между практикой и воображением // Там внутри : Практики внутренней колонизации в культурной истории России: сб. ст. / под ред. А. Эткинда, Д. Уффельмана, И. Кукулина. М. : Новое лит. обозрение, 2012. С. 6–50.

Эткинд А. Внутренняя колонизация: Имперский опыт России. 2-е изд. М.: Новое лит.обозрение, 2014. 448 с.

Ядринцев Н. М. Сибирь как колония: К юбилею трехсотлетия. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1882. 471 с.

### References

Chekhov, A. P. (1974–1983). Polnoe sobranie sochineny i pisem: v 30 t. Pis'ma: v 12 t.

[Complete Works and Letters: 30 Vols.]. Moscow, Nauka.
Dal, V. I. (n. d.) *Tolkovyy slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka : v 4 t.* [Explanatory Dictionary of the Live Great Russian Language: 4 Vols.]. URL: http://www.classes.ru/ all-russian/russian-dictionary-Dal-term-13379.htm (mode of access: 10.02.2016)

Foucault, M., Naumov, V. (Transl.) & Borisova, I. (Ed.). (2015). Nadzirat' i nakazyvat': Rozhdenie tyur'my [Discipline and Punish: The Birth of the Prison]. 416 p. Moscow, Ad Marginem Press.

Entsiklopedichesky slovar' F. A. Brokgauza i I. A. Efrona: v 86 t. [The Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary: 86 Vols.]. URL: http://www.vehi.net/brokgauz/ (mode of access: 10.02.2016).

Etkind, A., Uffelmann D. & Kukulin, D. (2012). Vnutrennyaya kolonizatsiya Rossii: mezhdu praktikoy i voobrazheniem [There within: Practices of Internal Colonisation in Russia's Cultural History]. In Etkind, A., Uffelmann, D. & Kukulin, I. (Eds.). Tam vnutri: Praktiki vnutrenney kolonizatsii v kul'turnoy istorii Rossii : sb. st. (pp. 6-50). Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie.

Etkind, A. (2014). Vnutrennyaya kolonizatsiya: Impersky opyt Rossii [Internal Colonisation. Russia's Imperial Experience]. 2<sup>nd</sup> ed. 448 p. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie.

Gabdullina, V. I. (2014). Struktura narrativa v knige A. P. Chekhova "Ostrov Sakhalin": arkhetipichesky i kul'turnyy podtekst [The Structure of Narrative in A. P. Chekhov's Sakhalin Island: Archetypical and Cultural Subtext]. In Narrativnye traditsii slavyanski-kh literatur: ot Srednevekov'ya k novomu vremeni. K yubileyu chlen-korrespondenta RAN E. K. Romodanovskoy: materialy Vseros. nauch. konf. (pp. 201–205). Novosibirsk, Omega Print.

Gogol', N. V. (1994). Sobranie sochineny: v 9 t. [A Collection of Works: 9 Vols.]. Vol. 7. 624 p. Moscow, Russkaya kniga.

Kataev, V. B. (1974). Avtor v "Ostrove Sakhalin" i v rasskaze "Gusev" [The Author in Sakhalin Island and in Short Story Gusev]. In V tvorcheskoy laboratorii Chekhova (pp. 232-252). Moscow, Nauka.

Kataev, V. B. (2001). Realizm i naturalizm [Realism and Naturalism]. In Russkaya literatura rubezha vekov (1890-e – nachalo 1920-kh godov) : v 2 kn. (Book 1, pp. 191–258).

Moscow, IMLI RAN, Nasledie.

Corrado, Sh. M. (2011). Sakhalinskaya katorga i mezhdunarodnaya tyuremnaya reforma [Sakhalin Hard Labour and the International Penal Reform]. In A. P. Chekhov i Sakhalin: vzgłyad iz XXI stoletiya : materialy mezhdunar. nauch.-prakł. konf. 21–22 sent. 2010 g. / Pravitel'stvo Sakhalinskoy oblasti ; ministerstvo kul'tury Sakhalinskoy oblasti ; Sakhalinsky gos. un-t. (pp. 33-40). Yuzhno-Sakhalinsk, Kolorit.

Levkovskaya, A. Yu. (2010). Ayny v knige A. P. Chekhova "Ostrov Sakhalin" i ikh sovremennoe polozhenie [The Ainu People in A. P. Chekhov's *Sakhalin Island*]. In Kostanova, I. A. (Comp.). XIII Chekhovskie chteniya: Anton Pavlovich Chekhov i kniga "Ostrov Sakhalin" v dvizhenii epokh: vek XIX – vek XXI (pp. 34–38). / Upravlenie kul'tury administratsii goroda Yuzhno-Sakhalinska. Yuzhno-Sakhalinsk, SakhGÜ.

Nekrasov, N. A. & Podol'skaya, I. I. (Comp.). (1987). Stikhotvoreniya: 1856 [Poems:

1856]. 526 p. Moscow, Nauka.

Pospišil, I. (2015). Ostrov Sakhalin A. P. Chekhova kak lebedinaya pesnya russkogo klassicheskogo romana i puti k novomu romanu [A. P. Chekhov's Sakhalin Island as the Swan Song of the Russian Classical Novel on the Way to the New Novel]. In Ivo Pospišil. Na forpostakh teorii i istorii klassicheskoy russkoy literatury / Colloquia Literaria Sedlcensia. XX (pp. 177–182). Siedlce, Instytut Neofilologii I Badan Inyerdyscyplinarnych Universytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Said, E. (2006). Orientalizm: Zapadnye kontseptsii Vostoka [Orientalism]. 638 p. Saint

Petersburg, Russky mir.

Savinkov, S. V. (2013). Zachem Chekhov ezdil na Sakhalin [Why Chekhov Travelled to Sakhalin]. In Pecherskaya, T. I. (Ed.). Literatura puteshestvy: kul'turno-istoricheskie i diskursivnye aspekty: sb. nauch. rabot (pp. 373–385). Novosibirsk, Gaudeamus.

Shcheglov, V. V. (2011). Impersky motiv rossiyskoy kolonizatsii Dal'nego Vostoka [The Imperial Motive for the Russian Colonisation of the Far East]. In A. P. Chekhov i Sakhalin: vzglyad iz XXI stoletiya : materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf. 21–22 sent. 2010 g. / Pravitel'stvo Sakhalinskoy oblasti ; ministerstvo kul'tury Sakhalinskoy oblasti ; Sakhalinsky gos. un-t. (pp. 88-90). Yuzhno-Sakhalinsk, Kolorit.

Šozina, E. K. (2015). Etnograficheskaya belletristika v russkoy literature rubezha XIX-XX v. [Ethnographic Fiction in the Russian Literature of the Turn of the 20<sup>th</sup> Century]. In Romodanovskaya, V. A., Silant'ev, I. V. & Titova, L. V. (Eds.). Krugi vremen: V pamyat'

Eleny Konstantinovny Romodanovskoy (pp. 625–636). Moscow, Indrik.

Sukhikh, I. N. (1985). "Ostrov Sakhalin" v tvorchestve A. Chekhova [Sakhalin Island in A. Chekhov's Creative Work]. In Russkaya literature, 3, pp. 72–84.

Sukhikh, I. N. (2007). Problemy poetiki Chekhova [Issues of Chekhov's Poetics]. 2<sup>nd</sup> ed. 497 p. Saint Petersburg, Filologichesky fakul'tet SPbGU.

Troitskaya, N. A. (2011). Sakhalinskaya katorga kak neudachnyy ekonomichesky eksperiment [Sakhalin Hard Labour as a Failed Economic Experiment]. In A. P. Chekhov i Sakhalin: vzglyad iz XXI stoletiya : materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf. 21–22 sent. 2010 g. / Pravitel'stvo Sakhalinskoy oblasti; ministerstvo kul'tury Sakhalinskoy oblasti; Sakhalinsky gos. un-t. (pp. 29–32). Yuzhno-Sakhalinsk, Kolorit.

Ushakov, D. N. (n.d.). Bol'shoy tolkovyy slovar' sovremennogo russkogo yazyka [Great Explanatory Dictionary of the Contemporary Russian Language]. URL: http://www.classes. ru/all-russian/russian-dictionary-Ushakov-term-23943.htm (mode of access: 10.02.2016).

Vizgin, V. P. (1995). Mishel' Fuko – teoretik tsivilizovannogo znaniya [Michel Foucault –

Theoretician of Civilized Knowledge]. In Voprosy filosofii, 4, pp. 116–126.

Vysokov, M. S. (2010). Kommentary k knige A. P. Chekhova "Ostrov Sakhalin" [A Commentary for A. P. Chekhov's Sakhalin Island]. 848 p. Vladivostok – Yuzhno-Sakhalinsk, Rubezh.

Ýadrintsev, N. M. (1882). Sibir' kak koloniya: K yubileyu trekhsotletiya [Siberia as a Colony: For Its 300th Anniversary]. 471 p. Saint Petersburg, Tip. M. M. Stasyulevicha.